

Дмитрий ЛАГУТИН

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «проза» (2017 и 2018 гг.), лауреат национальной премии «Русские рифмы» и др. Публиковался в журналах «Новый берег», «Нева», «Урал», «Знамя» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – сказка «Блуждания» (2021, № 7-8).

ПРО ЕЩЕ ОДНОГО ПОЭТА

Сказка

Трижды за последнее время Виктора Николаевича посещало вдохновение – и трижды происходило это в супермаркете, между бакалейным отделом и стеллажом с напитками.

В первый раз он даже растерялся – он остановился как вкопанный, перегордив проход, прислушался к чему-то, оказалось, давно позабытому и чуть не выронил снятый с полки пакет кошачьего корма. Робко, боясь пошевелиться и спугнуть удивительное ощущение, он сложил аккуратное четверостишие, пробормотал его себе под нос – и потом бормотал всю дорогу домой. Шел он весело, загребал носками туфель рыхлый февральский снег и временами – уж насколько позволял возраст – начинал как будто пританцовывать, а в подъезде, уже вызвав лифт, покачал игриво – «не-а» – головой и пошел по лестнице. В квартиру он ввалился задыхающийся, взмокший, но счастливый – отпихнул готового к атаке кота, вручил жене пакет с покупками и, не снимая куртки, прошел в комнату, склонился над столом. Выведя на обороте квитанции четверостишие, он помахал им перед собой, точно только что проявленным снимком, и показал удивленной жене.

– Зойчик! – воскликнул он, расплываясь в улыбке. – Ты посмотри, какую красоту я написал!

Жена озадаченно взяла квитанцию за краешек.

– На квитанции-то зачем... Сейчас, очки в кухне.

Она ушла в кухню, и пока ее не было, Виктор Николаевич, как был в куртке, мечтательно смотрел в окно – в низком, затянутом серыми облаками небе синели узкие проталины, сыпал мелкий снежок, опускался, рисуя зигзаги, серебрясь и поблескивая, в колодец двора. Вошел в комнату, долго ерзал, прицеливаясь, и, наконец, запрыгнул на стол кот. Виктор Николаевич, окрыленный и радостный, забыл о вражде и опустил на маленькую треугольную голову ладонь в рисунке царапин, погладил раз-другой, отдернул руку, когда кот попытался укусить.

– Витенька, – позвала от двери жена. – Как чудесно.

Кот изловчился и скользнул коготком по запястью Виктора Николаевича, чуть пониже часов.

Во второй раз Виктор Николаевич набрался смелости и, остановившись как вкопанный на том же месте, сочинил стихотворение из двенадцати строк, причем шесть из них рифмовались между собой. Сочинил и побежал к кассе.

– Девушка, миленькая, – обратился он к кассиру, высыпая перед ней покупки. – Дайте листочек какой-нибудь... И карандаш...

Кассир долго рылась под стойкой и, наконец, выложила на ленту тетрадь с васильками на обложке, протянула карандаш с плоской, едва заметной точкой графита на конце. Все это время Виктор Николаевич стоял, кусая губы, и мысленно держал стихотворение за уголки, чтобы оно не рассыпалось, не растворилось, – не нажимая и не

ослабляя хватки, – а потом нервным, вздрагивающим почерком переписал в тетрадь. Закончив, осторожно вырвал страницу, прижимая разворот ладонью.

– Ой, а вы писатель? – спросила девушка-кассир, вскинув на Виктора Николаевича огромные, василькового цвета, глаза.

– Ну, – засмутился Виктор Николаевич и кашлянул в исцарапанный кулак. – Писатель... Член союза...

– У меня сестра двоюродная пишет, – поделилась девушка и рассмеялась, смахнула со лба невесомую волнистую прядь, бросила за ухо. – Ерунду какую-то, правда. Вам пробивать?

Покупки поехали по ленте, Виктор Николаевич рассеянно кивнул. Он сложил вырванную страницу вчетверо, замешкался – в какой карман прятать, нагрудный или внутренний? – развернул, перечитал и покачал удивленно головой. Расстегнул куртку и спрятал во внутренний.

– С вас триста пятнадцать рублей. Посмотрите без сдачи, пожалуйста.

И вот сейчас, в третий раз, Виктор Николаевич стоял на крыльце супермаркета и писал заранее подготовленной и взятой из дома ручкой в заранее подготовленный и взятый из дома блокнот. Писал он длинное, но не тяжеловесное стихотворение, играющее с размером. Кое-где созвучными оказывались середины строк – ранее Виктору Николаевичу подобное удавалось редко. Но главное: что-то такое удалось ему выразить в стихотворении, дотянуться до какого-то сокровенного уголка, а там – точно язычки пламени бежали по хворосту.

Февраль заканчивался, неожиданно грянуло потепление, и с утра по улицам, прямо над пятнами серого, зернистого снега плавал теплый, плотный туман. Ревела автомобилями дорога, галдели толпящиеся у зебры студенты – на той стороне вытягивался, прячась за аллею, университетский корпус, – но и рев, и галдеж округлялись, смягчались в тумане. Время от времени двери супермаркета за спиной Виктора Николаевича с мягким гулом разъезжались, впуская или выпуская покупателей, и слышно было играющую в зале музыку – мягкую, ненавязчивую, напоминающую почему-то о гостиницах на берегу моря, о гулких коридорах и окнах во всю стену.

Перечитав стихотворение, Виктор Николаевич глубоко вздохнул.

«Выразил, – подумал он и закрыл блокнот, перетянул резинкой. – Много лет не мог слов найти – и вот, нашел».

И глаза у него заблестели – и ему не верилось уже, что последний год он все думал о том, чтобы совсем бросить стихи, которые вдруг перестали даваться, а если давались, то выходили угловатыми, хромыми, расползающимися по швам; бросить вместе с литературными вечерами, с семинарами, с презентациями в тесном зале библиотеки коллективных сборников, вернуть председателю и значок, и билет, и взятые когда-то в долг четыре тысячи...

Теперь все это казалось мелким и смешным – и снова Виктор Николаевич шел домой радостный, молодой, и смотрел по сторонам открыто, заглядывал в лица прохожих и в каждом видел что-то приятное, привлекательное. Он с наслаждением дышал влажным, одновременно и холодным, и теплым воздухом – воздух пах освобождающейся от снега землей и дождем, настоящим весенним дождем – и подмигивал расхаживающим по газону галкам. Пакет в руке казался невесомым, а внутренний карман куртки оттягивал заветный блокнот, тоже, казалось, теплый, напоминающий нагретый на солнце камень.

Загвоздка оставалась одна – дома не писалось. И вообще нигде, кроме супермаркета, не писалось. То есть писалось – но не так.

«Не так, – качал головой Виктор Николаевич, аккуратно зачеркивая написанное дома, за столом, и пряча ноги в тапки – в коридоре звучали мягкие кошачьи шаги. – Не то».

– Нет, Валя, ты послушай, что папа написал, – раздавался из кухни голос жены.

И она читала в трубку написанное в супермаркете. За последней строкой следовала пауза, и слышно было, как дерет обивку кресла кот, а потом жена радостно окликала:

– Витя, Валя в восторге!

И Виктор Николаевич стал экспериментировать.

– На крыльце стою, у самых дверей, – хрустя соленым огурцом, говорил он вечером жене, – кассы видно... Котлеты сегодня прямо волшебные... У дверей, говорю – и ничего! Пык-мык, палка-галка. Внутрь зайду, остановлюсь. Прислушиваюсь, значит... Ничего.

Он вилок чертил в воздухе сложные траектории.

– Несколько шажочков сделаю – и стою, прислушиваюсь. Еще несколько – и стою.

– Смотри, примут за сумасшедшего, – шутила жена, заливая воду в чайник.

Виктор Николаевич махал рукой и грозил коту кулаком.

– А вот подойду к тому месту...

Опытным путем было установлено – вдохновение посещало Виктора Николаевича исключительно между бакалеей и напитками, а если быть точнее, то у дальней стены, в самом конце, там, где рядом с дверью в подсобку расположилась на уровне груди полка с кошачьим кормом – обычная деревянная полка, узкая и вытянутая, совсем даже не продуктовая, без бортика и второго яруса, выкрашенная в белый, – а под ней – замотанные в скотч коробки, которые то уносили, то приносили.

– И вот как подойду к корму этому... – Виктор Николаевич грозно косился на опустошающего свою миску кота. – Я ж в первый раз туда за кормом и пришел... Как подойду – так просто подбрасывает. Веришь, Зойчик, как в молодости – ух, и к облакам!

И Виктор Николаевич листал лежащий тут же блокнот, находил нужную страницу и начинал читать, отложив вилок, – а жена садилась напротив, подпирала подбородок кулачком и слушала – и не знала, от чего она больше счастлива – оттого, что счастлив ее Витя, или оттого, что так похож он сейчас на себя тогдашнего – широкоплечего, порывистого, с огнем в глазах, богатого на авантюры.

– Оно, конечно, фантастика, Зойчик, но... Может, место там какое... Или предмет – или вещество, например.

И даже ночью Виктор Николаевич долго не мог успокоиться – сперва не засыпал, щелкал лампой и брался читать, потом ворочался, сопел, а когда, наконец, засыпал, то и во сне нет-нет а бормотал что-то неразборчиво, спорил с кем-то.

Сперва подозрения даже пали на корм. Да, дома не писалось, но все же... Надо проверить, в конце концов. Под ледяным кошачьим взглядом он ходил по комнате с пакетом в руке – а однажды, когда жены дома не было, зажмурился и закинул горсть коричневых кругляшей в рот. Сел на стул, свернул руки кренделем и жевал, глядя на оторопевшего кота, прислушивался к ощущениям.

«Нет, – подумал он, – не корм».

Но на всякий случай дожевал и – задержав дыхание – проглотил.

– Ничего, – сообщил он коту. – Пивка бы – и вообще отлично.

Он посидел задумчиво, отодвинул занавеску, посмотрел на залитый солнцем двор, достал из холодильника бутылку пива и не спеша выпил.

– Может, коробки тогда? – спросил он пришедшего в себя и развалившегося посреди кухни кота.

И в следующий раз в супермаркете Виктор Николаевич, покачиваясь от вихря мыслей и идей, как бы невзначай, выбирая корм, приоткрыл верхнюю коробку, скосил глаза. В коробке блестели боками пустые пол-литровые банки.

«А в других что?..» – подумал Виктор Николаевич, но проверить не успел – в проход хлынули шумным потоком студенты, потащили с полок кто что, один даже перетянулся через Виктора Николаевича и цапнул пакет кошачьего корма.

А на другой день коробок уже не было – голая, квадратиками кафеля, стена спускалась к голому же, в серых разводах, полу и смотрела из-под полки сиротливо и как-то затравленно. В одном месте уголок плитки был отколот.

Коробок не было – а вдохновение было.

А потом и корм переехал – в дальний конец зала. Виктор Николаевич переступил порог супермаркета, прошел мимо касс и на миг решил, что тронулся умом – бакалея занимала некогда фруктовый отдел, бытовая химия отползла в сторону, пачки с кормом пестрели рядом с одноразовой посудой.

– Перестановка, – пояснила девушка с васильковыми глазами. – Сами путаемся, но так вроде покупать будут больше.

В волнении Виктор Николаевич протиснулся к заветной полке – на которой теперь тесным рядком стояли консервированные ананасы нескольких видов – и выдохнул облегченно – в груди у него заныло, в воображении запенились образы.

Февраль закончился, в начале марта вдруг посыпался снег, тротуары и бордюры покрылись коркой льда, но потом грянула настоящая весна и все засверкало, закапало, зазвенело, оттаивая. Солнце светило весело, не скупясь, улицы горели точно бриллиантовые, и, зайдя в супермаркет, приходилось несколько секунд стоять на месте и моргать – все казалось зеленым. Виктор Николаевич стал заходить через день – и подолгу топтался рядом с полкой, строча в блокнот золотой ручкой, которую ему подарили много лет назад на юбилей и которую он специально отыскал в недрах серванта и распечатал.

Писал теперь Виктор Николаевич поэму – которую задумал еще в молодости и к которой несколько раз пытался подступиться, но не чувствовал в себе сил. Теперь поэма изливалась, точно ручеек, – и уже Виктор Николаевич торопился ей вслед, не успевая записывать; туманные прежде мысли и предчувствия вдруг обретали четкость, цеплялись друг за друга, рисовали узоры.

Придя домой, он читал сочиненное жене, а жена потом перечитывала в трубку дочери – а Виктор Николаевич смущенно сидел в комнате и листал наугад выбранную книгу или выходил на лоджию и прислушивался к капели. Даже кот, казалось, смягчил свой нрав и если царапался или впивался зубами в неспособную спрятаться в тапок и оттого беззащитную пятку, то делал это как-то больше для виду, не до крови и с готовностью отступал.

В середине марта Виктор Николаевич принес новые стихи на традиционный семинар при местном отделении Союза и, что называется, сорвал куш – кто-то даже аплодировал. Поэт-сатирик Маркин достал платок в горошек и промокнул уголки глаз. Ответственный за составление коллективного сборника сосредоточенно помечал что-то в тетради. А переехавшая десять лет назад из Москвы и сразу Виктора Николаевича невзлюбившая – чувства были взаимны – поэтесса взмахнула руками в перстнях и воскликнула:

– Это на нашего Вэ Эн так весна действует! – и она рассмеялась своей находке. – Вэ Эн – Вес-На!

Виктор Николаевич, читавший стихи стоя и порядком разнервничавшийся, отвесил благодарный поклон.

После семинара к нему подошел председатель, крепко пожал руку, хлопнул по плечу и попросил переслать стихи ему – что-то получится пристроить в журналы.

У полки стали попадаться другие поэты – или, быть может, прозаики? Один раз на Виктора Николаевича налетел упитанного вида мужичок, яростно полосовавший записную книжку прямо на ходу. Налетел – и не извинился. Если же Виктор Николаевич оказывался в супермаркете вечером, то через раз заставал под дверью подсобки молодого парня – длинноволосого, с пиратской какой-то бородкой и руками в татуировках. Парень грустно смотрел вокруг себя и бегал пальцами по экрану мобильного – стоял он, привалившись к двери.

«Наверное, думает, что причина – в подсобке, – подумал Виктор Николаевич и усмехнулся. – Потому и грустный такой».

И однажды, встретившись с парнем взглядами, он как бы невзначай кивнул на полку с ананасами.

Несколько раз наблюдал Виктор Николаевич рядом с полкой девушку – тоненькую, светленькую, похожую на молоденькое деревце. Девушка почти испуганно перебежала от стеллажа к стеллажу и бормотала что-то, теребила сережку в ухе.

– Думал я выкупить эту полочку, Зоя, думал, – говорил Виктор Николаевич, бережно раскладывая по столу листки – написанную до середины поэму. – Но как же мальцы эти? Это ж я им такую свинью подложу.

И жена, оторвавшись от посуды, целовала Виктора Николаевича в пепельно-серую, но все еще вихрастую макушку.

А в середине апреля, когда поэма близилась к завершению и Виктор Николаевич уже подумывал, не принести ли ее на семинар, полка пропала.

Ананасы рассеялись по соседнему стеллажу, и о том, что полка вообще была, напоминали теперь только два ровных отверстия в стене – с оранжевыми воротничками дюбелей.

Виктор Николаевич сперва ощутил... то есть ничего не ощутил... то есть ощутил отсутствие каких бы то ни было ощущений – в груди у него тревожно екнуло – и только потом увидел стену с отверстиями. Блокнот выскользнул из его руки и распластался на полу, ткнувшись в плитку разворотом.

Виктор Николаевич чуть не заплакал.

– Полка? А купил ее кто-то, – сообщила девушка-кассир. – Через начальство и за большие деньги, кажется. Вроде как раритет или что-то такое... – Она пожала плечами и пробила упаковку земляничного печенья. – Кофе не хотите взять? На него скидка большая.

Виктор Николаевич взял кофе.

– Есть еще вот наборы крючков в ванную.

Виктор Николаевич взял крючки. Девушка озвучила сумму, приняла деньги, отсчитала сдачу.

– Что же вы, – спросила она приветливо, – пишете сейчас? У меня сестра конкурс выиграла – в Уфу поедет, на фестиваль.

Она рассмеялась.

– Пишу, чего же... – пробормотал Виктор Николаевич и вышел не попрощавшись.

И потекла для него обычная, прежняя жизнь. Несколько раз заходил он в супермаркет, надеялся если не на возвращение полки, то хотя бы на то, чтобы встретить кого-нибудь из товарищей по несчастью, перекинуться взглядами, кивнуть друг другу понимающе – безрезультатно. На семинар он собирался взять хотя бы ту часть поэмы, что была закончена, но передумал и не взял ничего – и весь семинар просидел рассеянный, никого толком не слушая, а по окончании ушел раньше всех.

Поэма продолжала писаться – но теперь через нее надо было продираться, как через бурелом, и получалось, конечно, слабее, чем прежде, неувереннее, ходульнее. Кот, понимая, видимо, что противник его не способен на активные действия, на время отстал от Виктора Николаевича и после долгих раздумий остановил свое внимание на шторах, по которым приноровился карабкаться вверх-вниз.

Жена ходила вокруг и не знала, чем помочь, – и все боялась сказать что-нибудь невпопад.

Виктор Николаевич же держался молодцом.

– Ну будет, Зойчик, будет, – похлопывал он ее по руке. – Ну что ты, в самом деле.

И он так старательно успокаивал раз за разом жену – что в итоге успокоился сам.

– Ладно тебе, Зойчик, – говорил он, улыбаясь. – Выпало такое – порадоваться надо.

А и опять же – раньше я так и без полки писал, правильно?

Жена кивала.

И со временем Виктор Николаевич совсем смирился. Поэму – отложил, а стихи писать было продолжил, но уже не радовался им, как прежде, видел, что получаются они угловатыми, неуклюжими и точно одышкой страдающими, – и решил до поры до времени отложить и стихи.

Задумался о серии очерков – и на этом остановился.

Наступил май – и май совсем райский, солнечный, теплый, как-то по-особенному, так бывает только в мае, мягкий – и Виктору Николаевичу даже в самих словах «май» и «мягкий» слышалось что-то созвучное, и он эти слова катал мысленно туда-сюда, обходя дачу, прикидывая, скоро ли обновлять забор и не засадить ли оставшийся пятачок грядок клумбами.

Над приведением дачи в порядок трудилась вся семья, включая зятя и внуков, – и Виктору Николаевичу, по большому счету, достаточно было только ходить с серьезным видом и вздыхать.

Даже кота привозили на дачу время от времени – но жена боялась, что убежит, и потому носила его по участку на руках или запирала в комнате, и тогда кот сидел, как статуя, на подоконнике и не мигая следил свысока за дачной суетой. Виктор Николаевич надеялся, что однажды жена забудет закрыть дверь, и кот убежит куда-нибудь насовсем – и стыдился своей надежды.

Вечерами пили чай под навесом в виноградных кудрях, отмахивались от комаров, жгли костер – дети жарили сосиски – и уезжали с сумерками, и только Виктор Николаевич частенько оставался на ночь – жена отказывалась. Тогда он поднимался по скрипучей, неясной в сумерках, лестнице на второй этаж, в ту комнатку, в которой запирали днем кота, выпивал бутылочку пива, ложился в продавленную кровать и читал при свете лампы Чехова – да так и засыпал с книгой на груди. Посреди ночи он переворачивался со спины на бок, и его будил скрип пружин – и тогда он гасил лампу, выглядывал за занавеску в непроглядную дачную ночь, кряхтя, влезал под одеяло и засыпал до рассвета.

Раз или два просыпался пораньше, варил кофе, чашку выпивал сразу, а остальное наливал в термос, брал нарезанные женой с вечера бутерброды, накопанных детьми червей, удочку и шел на местный прудик. Сидел часов до девяти, пока не начинало припекать, и, как правило, возвращался без улова – рыбаком он был не самым успешным, и либо вообще ничего не ловил, либо ловил, но выпускал – не коту же отдавать – и рыбалку воспринимал скорее как атрибут дачной жизни, нежели как что-то само по себе увлекательное.

В городе Виктор Николаевич много гулял – то один, то с женой: пешком добирались до городского парка, и не спеша, наслаждаясь, глядя по сторонам, ходили туда-сюда, кружили вертлявыми дорожками, поднимались к смотровой площадке и останавливались над утекающими к горизонту кронами, сперва изумрудными, но чем дальше, тем темнее, в синий – и у жены на площадке всякий раз начинала кружиться голова, а Виктор Николаевич вспоминал что-нибудь из Волошина и читал негромко, поводя ладонью вровень с горизонтом.

Однажды, уже в начале июня, Виктор Николаевич встретил в парке парня с пиратской бородкой – тот шел по дорожке, глядя в телефон, по экрану которого снова мельтешил пальцами. Виктор Николаевич остановился, проводил узкую спину взглядом, подумал вдруг – а не он ли выкупил волшебную полку? – и даже хотел догнать, спросить, но постеснялся.

«Может, и он, – подумал Виктор Николаевич, переводя взгляд на снующего в траве зяблика, – ну и в добрый путь, дорогу молодым».

Сам он о приключении с полкой вспоминал теперь как о чем-то далеком и небывалом, похожем на сон – и вспоминая, улыбался, покачивал головой и думал, что пиши он прозу, может, и взялся бы за рассказ с таким сюжетом – чем не сюжет?

«Принес бы на семинар, – думал он и фыркал. – И кто бы поверил, что это на самом деле было?»

И, переставая фыркать, спрашивал себя, вслух:

– А было ли?

Майский семинар Виктор Николаевич прогулял, а июньского не предполагалось – на лето литературная братия брала каникулы, – и прожил бы Виктор Николаевич до сентября в парково-дачной изоляции, если бы не услышал, что не отличавшийся прежде особыми заслугами поэт Н. стал выигрывать конкурс за конкурсом – по результатам одного из них на региональном телевидении вышло получасовое интервью – и даже попал в несколько московских журналов сразу.

Н. был сепаратистом и скандалистом – союзы презирал, на семинары не ходил, но в библиотеке был частый гость и на мероприятиях время от времени появлялся, хотя и на них держался особняком. Семинаристы над Н. смеялись, стихи его всерьез не воспринимали и, добывая где-то, выискивали в них особо казусные строчки, чтобы потом передавать их из уст в уста

Громче всех над Н. смеялся поэт-сатирик Маркин. Теперь же он озадаченно подтверждал:

– Читал, Вить, читал, – и протягивал Виктору Николаевичу рюмку с пламенно-пурпурной настойкой. – Зоя точно не против?

Виктор Николаевич заверял, что все согласовано. Маркин опрокидывал рюмку в широко раскрытый рот, в котором поблескивали золотые зубы, кусал бутерброд, доставал платок в горошек и вытирал им пот со лба.

Окно в кухне было открыто, но все равно стояла духота – на смену теплому июню пришел нестерпимо жаркий, тропический, июль. Говорили о том, что жара будет аномальная, что последний раз такое случалось чуть ли не сто лет назад, – город погрузился в сонное, заторможенное состояние, все, кто мог, разъехались по курортам, остальные старались не покидать домов. Виктор Николаевич даже на даче показываться перестал – и по возможности сидел в квартире лицом к лицу с вентилятором.

Кот вентилятора боялся больше, чем пылесоса, и жался по углам.

– Вить, – наваливался на стол локтями сатирик Маркин, – я даже шутить не буду, это ранний Блок, не меньше.

Он тянул руку к крадущемуся по кухне коту и отдергивал в последний момент.

– У, зверюга... ты зачем царапаешься? Вить, его, говорят, вон где заметили, на премию двигают. Вить, да я бы сам не поверил... И главное – мимо семинаров же... На день рождения-то к нему, говорят, из Москвы приедут, редактора какие-то.

– Да кто говорит? – спрашивал Виктор Николаевич, чувствуя, как хмелеет, и прижимая ногой ножку стола, чтобы тот не кренился под весом сатирика.

Спрашивал и знал ответ – с Н. из всего семинара связь держала одна только московская поэтесса, та самая, что связала Вэ Эн и весну.

Празднование дня рождения намечалось на конец июля – и к этому времени Н. уже начал чёс по областным библиотекам, оказался в жюри какой-то премии и дважды летал в Петербург на юбилей мэтров. Семинаристы, конечно, не приглашались – за исключением поэтессы.

Какое-то время после разговора Виктор Николаевич ходил в странном смятении – сомневался, маялся, смеялся над собой, – а в итоге не выдержал и позвонил поэтессе, аккуратно поинтересовался, будет ли уместным заглянуть на торжество без приглашения.

– Поздравить, так сказать, – смущенно пояснял он, – позать рождающую шедевры руку...

– Приходите, Вэ Эн, что уж тут, – разрешила со вздохом поэтесса. – Многие, как я понимаю, так или иначе... придут.

Жена, напротив, взялась отговаривать.

– Ну что ты, Витюша, ну зачем? Разнервничаешься еще – а тебе ведь вредно...

Виктор Николаевич гладил ее по острому плечу и уверял, что нет, не разнервничается, что посмотреть хотя бы одним глазком – ну нельзя же не посмотреть, такая ведь история!

– Да и что ты, Зойчик, меня в доходяги записываешь? – он поднимал руку, сгибал в локте. – Я вон какой богатырь у тебя!

Жена смеялась.

Весь июль столбик термометра неуклонно полз вверх, и выходя на лоджию, втягивая с закрытыми глазами плотный горячий воздух, Виктор Николаевич представлял себе далекую Турцию – или даже Египет, белый от жара песок и дрожащие у горизонта миражи. В квартире поселился еще один вентилятор – крупнее первого – и кот совсем сдал позиции: издергался, устал прятаться и ходил раздавленный собственным малодушием. Даже, кажется, признал превосходство Виктора Николаевича – который вентиляторов не только не боялся, но еще и целоваться к ним лез.

И весь июль над городом висели неподвижно редкие полупрозрачные, точно выгоревшие облака – а в день рождения Н. небо вдруг как-то разом затянуло.

– Зонт не забудь, – наставляла жена примеряющего костюм Виктора Николаевича. – Как ты картину донесешь-то?

– Донесу... Помоги с галстуком...

На диване покоилась завернутая в бумагу и перетянутая бечевкой картина: пруд с ивой; вдалеке над водой белела дужка мостика, у берега блестели влажными перьями утки. Картина была куплена у старого друга, художника.

– Витька, – говорил художник, разыскивая по мастерской бечевку, – от сердца отрываю, другой такой не сыщешь.

Картина и вправду была так хороша, что Виктор Николаевич даже в какой-то момент засомневался – дарить ли? А может, оставить себе, а Н. купить что-нибудь попроще? – и устыдился.

Н. жил на другом конце района, в двадцати минутах ходьбы – и все время пути Виктор Николаевич тревожился: что-то забыл, а уже у подъезда понял, что забыл зонт. Над тесным, похожим на пенал, в липах и рябине, двором нависали темные, пудовые тучи, по всему было видно, что хлынет, хлынет обязательно – и зной, хоть и не делся никуда, был теперь липкий, вязкий, и если закрыть глаза, чудился не Египет, а какие-нибудь джунгли с мхом и лианами.

– Открываю! – донеслось из динамика без каких-либо предисловий.

Виктор Николаевич, обливаясь потом, постоял в исписанном мальчишками лифте, шагнул на просторную, прокуренную площадку и оказался перед распахнутой настезь дверью, за которой толпилось невообразимое множество людей в пиджаках.

– Вэ Эн! – крикнула из-за пиджаков поэтесса и протянула руку в перстнях. – А вот и Вэ Эн!

Виктор Николаевич кашлянул, поправил воротник и шагнул через порог. Тут же закружило его десятком голосов, звоном бокалов, смехом, едва различимой в общем шуме музыкой.

– Это Вэ Эн, – представляла его кому-то поэтесса, – я вам про него говорила.

Кто-то, щурясь через очки, жал Виктору Николаевичу руку, тут же протягивал визитку. Виктор Николаевич хлопнул себя по карману и понял, что забыл не только зонт, но и визитницу – со своими в том числе.

Он пристроил картину у стены, разулся, потом увидел, что все обуты – и обулся. Потом увидел, что обуты не все – и все-таки разулся. Прошел, заслоня собой подарок, по коридору – на стенах свободного места не было от грамот и дипломов, – оказался в ярко освещенной комнате, в которой людей было еще больше, присмотрелся: музыка доносилась из стоящего на тумбе граммофона; встретил несколько знакомых, пожал им руки, увидел даже однокурсника по литинституту, но тот его, кажется, не узнал, пролез между стеной и длинным, без стульев, столом, ломящимся под закусками и бокалами.

– Вэ Эн, берите бокал! – поэтесса подхватила Виктора Николаевича под локоть и потянула к столу. – А какие у вас руки крепкие, Вэ Эн, – сказала она удивленно. – Спортом, наверное, занимались?

– Занимался, занимался, – вернул себе свой локоть Виктор Николаевич, – дайте именинника найти.

Именинник, высокий, худой, с вытянутым лицом и завернутыми в щегольский чуб седыми волосами, возвышался над толпой гостей, как фонарный столб, – и весь сиял. Виктор Николаевич протиснулся сквозь тесные ряды поздравляющих – кто-то недовольно заворчал – и стал перед Н., глядя на него снизу вверх.

– Ах, Витенька, – удивился Н. и расплылся в улыбке. – Какая встреча.

Он медленно протянул Виктору Николаевичу узкую длинную кисть, одарил мягким рукопожатием.

Виктор Николаевич сбивчиво поздравил Н. с именинами, пожелал и здоровья, и долголетия, и признания в высших литературных кругах – и выразил восхищение недавними успехами.

– Польщен, Витенька, польщен, – кивал Н. и оглядывал сжимающиеся ряды гостей. – Это вот наш Витя, очень крепкий поэт.

Виктор Николаевич почувствовал, как на нем скрестилась дюжина взглядов.

– Ну... – крикнул он. – И вот. Услада для глаз, так сказать.

Он протянул Н. картину. Тот взял ее и вытянул перед собой, точно залюбовался сквозь бумагу.

– Какая прелесть, – проворковал он и отвесил Виктору Николаевичу поклон.

Тут же Виктора Николаевича оттеснили куда-то к столу. В руках сам собой оказался бокал с шампанским.

– Пейте, Вэ Эн, пейте, – одобрила проплывающая мимо поэтесса. – Что вы как неродной?

И она исчезла в толпе.

Виктор Николаевич поднес бокал к губам и медленно выпил до дна, оглядываясь при этом по сторонам, – вдоль стен стояли тяжелые книжные шкафы, их разбавляли серванты с посудой. У окна темнело пианино, на нем хмурил брови бюст Тютчева.

Сбоку возник какой-то взъерошенный старичок, стукнулся своим бокалом о бокал Виктора Николаевича, заговорил о Волошине, процитировал Бальмонта, попросил выпить с ним водки и вручил Виктору Николаевичу рюмку. Сунул еще одну стоящей тут же тетушке в жемчугах и воскликнул тоненько, срывающимся голосом:

– За ваш чудесный город!

Виктор Николаевич выпил, изловчившись, подхватил со стола раскачивающийся, похожий на башенку в несколько этажей, бутербродик, тут же выпил снова – «за чудесных жителей города» – и старичок вовлек его в сумбурную, путающуюся беседу обо всем на свете, причем старичок то спрашивал, выражая искренний интерес, то перебивал и пускался в длинные витиеватые монологи.

– Я всегда говорил, – заверял он Виктора Николаевича, – что за концептуализмом будущее, да вот только они все в концептуализме ничего не понимают и готовы что угодно назвать концептуализмом, если им выгодно!.. А пойдёмте к Смирнову, он подтвердит!

И он тащил Виктора Николаевича к какому-то Смирнову, и тот подтверждал, а Виктор Николаевич, ошалевший от шума и суматохи, шел послушно, куда звали, и говорил что-то про концептуализм, и угощался предложенными тарталетками.

– Что вы пьете! – ругался на старичка и Смирнова другой старичок, с белыми как мел бакенбардами. – Вот что надо пить!

И он выдирает из чьих-то рук квадратную бутылку.

– На чабреце! – восклицал он. – Один раз выпьешь – к водке не притронешься!

Старичок со Смирновым послушно меняли полные рюмки на пустые, тянули к бутылки.

– Тихо, тихо, – шипел на старичка с бакенбардами третий – с огромными, похожими на кучевые облака, бровями, и закрывал бутылку полой пиджака, – налетят сейчас...

Старички вереницей потянулись сквозь толпу, за ними заспешил Смирнов, прицепился еще кто-то – и почти уже исчезнув из виду, первый старичок, взъерошенный, вдруг вернулся и потянул за рукав Виктора Николаевича.

– Петя, – недовольно проворчал он, – ну что ты застыл? Что ты застыл?

Виктор Николаевич двинулся за старичками – и перешел из первой комнаты во вторую. Тут было потише, и свет горел не так ярко, но люди толпились так же – сидели на диванах, в креслах, кто-то курил, в круглом аквариуме метались пестрыми стайками рыбки.

Виктор Николаевич выпил вместе со всеми, постоял немного, споря про Волошина и концептуализм, а потом, поняв, что его не слушают, осторожно отделился от компании и пристроился в уголке, возле окна.

Окно было приоткрыто – и в него тек с улицы душистый, терпкий воздух, уже как будто пахнувший близким дождем, за занавеской плыли огни фар.

Виктор Николаевич оглядел комнату – но и здесь заветной полки не увидел. Со стен смотрели портреты, был даже портрет самого Н. – в бабочке, рядом с античной вазой. Между диваном и креслом переливался оранжевыми огнями искусственный камин.

– Вэ Эн!

И от дверей к Виктору Николаевичу заспешила поэтесса. В одной руке она держала бокал шампанского, в другой – заложенную пальцем книгу.

– Как вам прием? – спросила она и, не дав Виктору Николаевичу сказать, ответила сама: – По-моему, замечательно!

Виктор Николаевич неопределенно качнул головой.

– Уж для вашего захолустья, – продолжила поэтесса, улыбаясь так, словно сообщала Виктору Николаевичу что-то ужасно приятное, – это просто новая страница! Такого тут со времен Толстого не было!

Виктор Николаевич с тоской посмотрел на окно, отодвинул занавеску и увидел, что на стекле серебрятся косыми царапинками первые капли. Теперь уже явственно пахло дождем – и даже веяло тонкой, едва уловимой прохладой.

Старички в противоположном углу шумели – оттуда доносились обрывки стихов, звяканье рюмок, особо часто слышалось на все интонации перекладываемое – то восторженное, то пренебрежительное – «концептуализм».

– А вот посмотрите, Вэ Эн, – сказала поэтесса и вручила ему свой бокал, со следами помады. – Что это у вас все руки в царапинах... Смотрите, какой мне сборник достался...

И она принялась листать книгу – а остановившись, кашлянула в перстень, и вытянула шею.

– Где сон плывет, не зная брода! – начала она торжественно, – Почти касаясь небосвода...

– За концептуализм! – закричал что есть сил один из старичков.

Поэтесса прервалась, обернулась, посмотрела неодобрительно, вздохнула и закрыла книгу.

– Ах, Вэ Эн, какое тут чтение... Давайте лучше выпьем, – она взяла из руки Виктора Николаевича свой бокал, посмотрела вокруг. – Хотите, я вам шампанского принесу? Или лучше водки?

– К водке я больше не притрагиваюсь.

– Как знаете, Вэ Эн, значит, будем пить шампанское, – и поэтесса, вскинув голову, удалилась.

Виктор Николаевич дождался, пока она скроется, и медленно двинулся через комнату, надеясь незаметно ее покинуть.

– Петя! – закричал взъерошенный старичок и завертел головой. – Петю потеряли!

Из калейдоскопа толпящихся в первой комнате гостей показалась поэтесса, смотрела она вбок, с кем-то на ходу разговаривая.

Виктор Николаевич пригнулся, уворачиваясь от взгляда старичка, дернулся в сторону, чуть не зацепив локтем аквариум, и юркнул за возникшую перед ним дверь, которой прежде, удивительное дело, не замечал. И оказался в маленькой комнатке – по-видимому, служившей Н. кабинетом.

Виктор Николаевич увидел письменный стол, книжный шкаф, тахту с абажуром – абажур светился, и по комнате разливалось мягкое зеленовато-желтое сияние – тумбочку, а над тумбочкой...

Над тумбочкой висела на стене полка из супермаркета – белая, вытянутая и узкая.

Сердце Виктора Николаевича загрохотало в груди.

Полка висела пустая – на ней не стояли книги, не лежали бумаги. О кошачьем корме или консервированных ананасах и говорить было нечего.

И, конечно же, – Виктор Николаевич был в этом уверен – это была именно она.

В комнате негромко играло радио – приемник ютился на краю стола – из-за дверей звучали голоса.

– Концептуализм! – кричали старички хором.

Внезапно голоса стали громче, приблизились.

Виктор Николаевич отскочил к двери, но потом не выдержал и шагнул к полке. Достал из кармана пиджака перочинный нож, который всегда носил с собой – старый, когда-то привезенный с моря другом нож с выгравированным линкором и надписью «Новороссийск» – и сколупнул с угла полки узкую щепочку, обнажив под краской бежевую древесину. Не слыша ничего, кроме своего сердцебиения, он сложил нож, спрятал щепочку в нагрудный карман и вышел из комнаты, стараясь держаться непринужденно – забрел, дескать, заблудился, и вот вышел.

– А вот и Петя! – раздалось над ухом. – Налейте-ка ему!

Виктор Николаевич, коротко отнекиваясь, отшучиваясь двинулся к дверям, столкнулся с поэтессой – «Вэ Эн! Разве это прилично с вашей стороны – прятаться!» – извинился, пожал руку в перстнях, протиснулся, боясь встречи именинником, через хмельную, шумную толпу в первой комнате, влез в туфли, примяв задники, навалился плечом на дверь и вынырнул в подъезд. Взмокший, в волнении и смущении, долго ждал лифт – и не дождавшись, заспешил вниз по лестнице. Едва не зашиб, распахнув подъездную дверь, сатирика Маркина, поздоровался коротко, сослался на спешку и почти побежал через двор.

– Пускают? – крикнул вслед Маркин, но Виктор Николаевич не ответил.

Было уже темно, и только на западе небо светилось бледно-синим. Ронял тяжелые редкие капли дождь.

Парило.

Виктор Николаевич выбрался из двора, перешел улицу, в странных и сложных чувствах двинулся по оранжевому в свете фонарей тротуару, шаркая по плитке заматыми пятками и не убирая руки от нагрудного кармана.

У перекрестка Виктор Николаевич остановился, поправил обувь, отметил каким-то краешком сознания, что дождь капает уже не так редко, как прежде, – а еще через один перекресток с темного, в оранжевых разводах, неба хлынул, придавив духоту и остатки зноя, ливень. Сразу стало прохладно, в нос ударил запах сбитой с улиц пыли, и Виктор Николаевич заспешил, жмурясь, откидывая со лба мокрые волосы, перешел уже настоящему на бег, свернул, чтобы срезать путь дворами, но в первом же задохнулся, почувствовал боль в боку и нырнул под козырек ближайшего подъезда.

«Пережду, – думал он, держась за грудь и пытаюсь отдышаться. – А если не перестанет, такси вызову».

Какое-то время стоял, привалившись к двери, тяжело дыша, потом выпрямился, пригладил волосы, положил ладонь на нагрудный карман и осмотрелся.

Дождь черно-оранжевой стеной обнимал крыльцо, колотил по козырьку, пенил расползающиеся по асфальту лужи – перемешивая в них оранжевые блики – глухо барабанил по листве, по спине скрученного из автомобильной покрывки лебедя, белеющего в глубине клумбы. Сквозь стену проступали дрожащие прямоугольники окон – в доме напротив – их сметала и тут же возвращала на место черная путаница раскачивающейся перед подъездом кроны.

Ближайшее к подъезду окно – на первом этаже – тепло светилось бело-желтым, и из него, из приоткрытой форточки, доносилась, пробивалась сквозь шум дождя какая-то простенькая, не то веселая, не то задумчивая мелодия.

Виктор Николаевич стоял неподвижно, прислушиваясь к мелодии, обводя взглядом водоворот из красок и бликов, – и вдруг на сердце у него стало спокойно и тихо, мысли прояснились. Виктор Николаевич вынул из внутреннего кармана – не того, где лежал перочинный нож «Новороссийск», а второго – блокнотик на пластиковой пружине, авторучку и, закусив губу, часто моргая блестящими от набежавших слез глазами, стал быстро-быстро писать.

До блокнотика дотягивался свет от окна, долетали и морщили страницу мелкие колючие капли.

Сойдя с Буравушкиной горки, Пушкин разулся и зашагал босиком. Теплая, пыльная, приятная босым ступням дорога, изгибаясь, убегала далеко вперед и врезалась в пролесок. По обе стороны безмолвное и неподвижное – только еле заметно вздрагивала под ветерком трава да взлетала вдруг и пряталась птица – расстилалось поле, таяло у горизонта в дымке. И потому что было так тихо, издали услышал Пушкин перестук копыт и скрип телеги – задолго до того, как поднял голову и увидел впереди клубящееся, увеличивается в размерах облако пыли.

Но и при виде его не потерял взгляд Пушкина какой-то веселой и мечтательной отрешенности, и не перестал он улыбаться каким-то своим мыслям – он даже наклонился, дернул с обочины травинку и, сунув ее в зубы, неразборчиво и весело забормотал что-то про телегу и про дорогу и еще про что-то, одному ему понятное.

Из облака между тем проступили очертания длинноногой, с большой грузной головой, лошади, широкоплечего мужика с вожжами, растопыренных и обложенных сеном углов телеги – а потом телега остановилась в пяти шагах, звонко скрипнув. Мужик спрыгнул на дорогу и стянул шапку, отвесил поклон.

– Никак гулять, барин? – спросил он.

– Гулять, Семен.

– Прислать за вами к темноте?

Пушкин рассмеялся.

– Что ж у меня, ног нет? А, Семен?

Он потрепал лошадиную гриву и зашагал по дороге. Скоро скрип и цокот за спиной совсем затихли – и дорога снова погрузилась в нежную вечернюю тишину, в которой, однако, стрекотали кузнечики, шуршала трава и шелестела листва приближающегося пролеска.

У первых деревьев Пушкин, не переставая думать о чем-то, подсказывать самому себе слова, взмахивать вдруг рукой в легком жесте, похожем на жест дирижера, сошел с дороги, ступил в прохладную густую траву и сел у ближайшего дубка, прижавшись к нему спиной.

Поле, уходя к горизонту, словно выгибалось полукругом, просыпалось тут и там невысокими, прозрачными деревцами, а над горизонтом разливался прохладный золотисто-розовый, какой-то совсем яблочный закат, которого Пушкин нигде, кроме как здесь, в Болдино, не видел. И в свете этого заката дышали, нежились поля, таяли холмы, тучнели исполинские облака.

И высоко над землей, в пелене теплого света песчинкой висела первая звезда.

Пушкин долго сидел, прислонившись к дубку и глядя на опускающееся к горизонту солнце, – и по взгляду его, меняющемуся от радости к тоске, от тоски к торжеству и от торжества к веселости, можно было понять, что в мыслях поэта происходит сейчас что-то удивительное, таинственное и невыразимое. Мало-помалу Пушкин сам не заметил, как задремал, проспал, как был, сидя, до темноты – во сне он вздрагивал, улыбался уголком губ, и видно было, как под тонкими желтыми веками метались туда-сюда зрачки – и проснулся, когда над полем уже рассыпался, мерцая и переливаясь, Млечный путь. Тогда Пушкин встал, потянулся, постоял немного, запрокинув голову, и побрел в сторону усадьбы.

А дубок остался стоять.

С годами он рос, тянулся все выше и выше к облакам, уходил вглубь перелеска, закрываясь от полей деревьями помладше. Ствол его ширился, кора грубела и шла глубокими бороздами, ее закрывал толстый слой мха, с ветвей сыпались к осени крупные, тяжелые желуди.

И стоял он так сто пятьдесят лет – пока в семидесятых администрация района не решила расширять дорогу, и часть перелеска не пришлось вырубить. Древесину отправили на местную фабрику, но то ли руководство выдохлось, то ли кризис производства оказался необратимым, а только изготовили из полученного материала всего одну партию – стеллажи да полки – и партия эта стала для фабрики последней.

Почти все полки разошлись по областным школам и библиотекам – но что-то осталось на складе, и когда фабрику закрывали, работникам предлагали часть зарплаты ввиду невозможности расплатиться получить полками. Несколько человек предложением воспользовались, и одна из полок, например – узкая и вытянутая – десять лет висела в кухне старшего столяра, порядочного и трудолюбивого человека. Потом была перепланировка дома, кухню ломали и достраивали, обставляли новой мебелью, и полка оказалась в сарае, в котором пролежала еще десять лет.

Девяностыми сын столяра уехал в областной центр учиться и, заселившись в общежитие, посетовал на то, что книги можно хранить либо на столе, либо под кроватью – на что столяр достал из сарая, выкрасил в белый и привез сыну ту самую полку. Сын, однако, в учебе особого рвения не проявил и спустя два года из областного центра вернулся в родные края – оставив полку висеть в комнате общежития, из которой ее забрал во время планового ремонта как ненужную завхоз.

В десятых завхоз с женой переехал поближе к Москве, в одном из университетов которой учились дети, в родной город отца – и полку перевез вместе с остальной мебелью. Но дома не повесил – жена устроилась уборщицей в супермаркет и однажды принесла ее с собой на работу, пристроила в подсобке. Через год жена уволилась – у детей появилась возможность забрать стариков в Москву – и полку забирать не стала.

Спустя еще три года новый администратор супермаркета, затеяв реорганизацию торгового зала, понял, что дальней стене чего-то не хватает. Тогда он пошел в подсобку, снял полку со стены и самолично перевесил ее в зал.